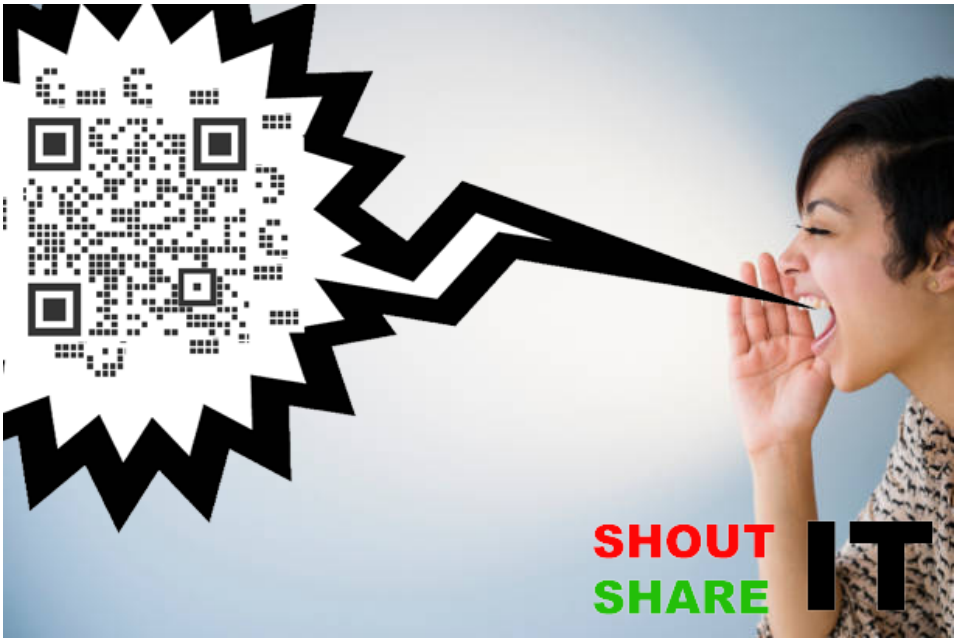
МИРОВАЯ КЛАССИКА

Ю. НАГИБИН

По пути в бессмертие


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

…На одной из невзрачных улиц Воронежа, в невзрачном доме жил, творил, готовился к исходу и преображению пушкин русской поэзии двадцатого столетия по имени Мандельштам…

- Юрий Нагибин
  - ○
- notes
  - ○ 1

Юрий Нагибин
Голгофа Мандельштама

Однажды в программе «Взгляд» показали дом, приютивший Осипа Мандельштама в его воронежском изгнании. И с экрана прозвучал короткий диалог ведущего программу с одним из «хозяев города». Ведущий поинтересовался, нет ли у городских властей намерения присвоить улице имя опального поэта. Иронически и снисходительно посмеиваясь, спрашиваемый, типичный представитель дремучего племени номенклатуры — сытое, гладкое, самоуверенное лицо, взгляд насквозь — пожал плечами: с чего, мол? «Ну как же! — жалко забился голос ведущего. — Такая трагическая судьба, такой большой поэт!..» «Да ведь не Пушкин!» — срезал «хозяин города» и сам засмеялся, довольный своей находчивостью. В подтексте звучало: думаете, мы провинциальные, серенькие, не знаем, что почем? Нас на мякине не проведешь!..

Тут же на экране возник вездесущий Марк Захаров и со свойственной ему д'артаньяновской реакцией сделал ответный выпад: «Конечно, не Пушкин. Он другой гений!» Великолепный укол. Впрочем, его противник не только уцелел, но даже не почувствовал боли. В отличие от Сирано де Бержерака, для которого любая рана была бы смертельна, ибо он состоял из сплошного сердца, представитель воронежской элиты этим чувствительным и уязвимым органом вовсе не обладал.

А мне пришел в голову другой ответ, который мог бы хоть озадачить закованную в броню тупость. Кто-то из великих сказал, что Пушкин — наше все. Пушкин не имя, а слово, самое полное и звучное слово для обозначения российского гения. Поэтому можно сказать: пушкин Гоголь, пушкин Лермонтов, пушкин Достоевский, пушкин Мандельштам. Да, да, дорогие воронежцы, на одной из невзрачных улиц вашего города, в невзрачном доме жил, творил, готовился к исходу и преображению пушкин русской поэзии двадцатого столетия по имени Мандельштам. Незавидного росточка, худощавый, старообразный человек, которому не было пятидесяти, а выглядел далеко за шестьдесят, с серой щетиной на провалившихся в челюстную пустоту щеках, со вскинутой по-гоголиному головой, тонущий в не по чину барственной, тронутой молью шубе с чужого плеча.

— Дедушка, ты генерал или поп? — спрашивали его воронежские ребятишки, недобро приглядываясь к странному чужаку.

— Немножко и то и другое, — отвечал тот, пересчитывая их бегло-взблескивающим взглядом.

Мандельштам вызывал чувство недоумения не только у воронежской детворы. Ни одна поэтическая и человеческая судьба не может поспорить в непонимании с участью Мандельштама. И вообще-то глуховатый к творчеству современников, Блок (как трудно давалось ему приближение к родственному всем настроем Иннокентию Анненскому) на дух не принимал Мандельштама, издевательски сравнивая его с безвестным московским поэтом-дилетантом. Лишь когда Мандельштам вымахал чуть не во весь свой поэтический рост, Блок проявил к нему некоторую снисходительность. То ли Хлебников, то ли Маяковский пустили о нем злую шутку, высмеивающую античные пристрастия поэта и прицепившуюся к нему, как репей: мраморная муха. К середине двадцатых критики стали делать вид, что такого поэта, как Мандельштам, вовсе не существует, если же приходилось вспоминать о нем, волчья пасть вспенивалась бешеной слюной злобы. Даже бывший собрат по цеху поэтов талантливый Георгий Иванов признавал полностью лишь «Камень», в «Тристии» обнаруживал остывание дара, а все остальное — и высшее — резко отвергал. Б. Пастернак под уклон дней признался, что недооценивал в молодости почти всех лучших поэтов-современников. Мандельштаму это дорого обошлось. Когда его посадили в первый раз за антисталинские стихи, обиженный вождь позвонил Пастернаку, желая узнать, какое впечатление произвел этот арест на писательскую среду. В ту пору еще существовало общественное мнение, да и с заграницей считались. Сильное слово Пастернака могло бы спасти Осипа Эмильевича. Но Пастернак, взволнованный звонком Сталина, в которого был тогда по-женски влюблен, не мог сосредоточиться на предмете беседы. Он стал зачем-то уверять Сталина, что поэтически Мандельштам ему глубоко чужд. Это было правдой, но сейчас вовсе не нужной. «Вы плохо защищаете друга», — сказал Сталин. Все еще во власти звездного, а не земного, Пастернак уточнил, что его отношения с Мандельштамом нельзя назвать дружбой в том высоком смысле… Сталин уже не слушал, он понял главное: большого шума арест Мандельштама не подымет. Лишь после того как звякнул рычажок трубки, Пастернак опамятовался: не туда его занесло. С тревожным, дискомфортным чувством набрал он номер Сталина. «Нам надо поговорить!» «О чем?» — холодно спросил вождь. Желая укрупнить предмет беседы, Борис Леонидович затрубил: о жизни и смерти, о вечности!.. Сталин бросил трубку.

Но что-то сработало. Резолюция о Мандельштаме была

непривычно мягкой: изолировать, но сохранить.

В свете того, что совершил Мандельштам, снисходительность Сталина кажется сейчас невероятной и необъяснимой. Часто приходится слышать: почему не нашлось на Сталина Занда, Шарлотты Корде, хотя бы Фанни Каплан? Почему же — нашлось, только Мандельштам действовал не кинжалом или пулей, а словом. В дни рабьего молчания, наклона и угодливости он громыхнул такими стихами:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи на десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, —
Там помянут кремлевского горца,
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.

Как подкову, дарит за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.

Сейчас, когда о Мандельштаме пишут в мире куда больше, чем о любом другом русском поэте, нельзя вроде бы говорить о каком-то его непризнании. Скажем иначе, мягче: затянувшаяся недооценка, недопонимание, нежелание отдать Богу Богово. Даже такой поклонник поэта, как американский исследователь К. Браун, проявляет порой странную глухоту. Обманутый летучей легкостью «Американки», «Тенниса», «Кинематографа», он считает эти стихи пустой тратой поэтических сил, а не проницательным и радостным откликом поэта на движение времени: двадцатый век оттесняет молодым мускулистым плечом своего предшественника — на смену дряхлым струнам лир он натягивает золотой ракеты струны.

Меня удивляет, каким сдержанным — до сухости — стал Иосиф Бродский в оценке Мандельштама. Он даже объявил своим учителем сверстника и друга Евгения Рейна, чтобы не числиться

по ведомству Мандельштама. И многие приняли за чистую монету это усмешливое смирение. «Маленький Ося» называли его в ахматовском кругу в отличие от «Большого Оси»; в милой этой шутке признавалась связь поэзии молодого Бродского с автором «Камня». Тогда Бродский охотно отзывался на любовное прозвище, но сейчас он сознает себя самого «Большим Осей». Великие не любят предтеч.

Я с вниманием и сочувствием следил за антологией советской поэзии, которую вел Евг. Евтушенко на страницах «Огонька», и на меня пахнуло нежданным холодком от мандельштамовской публикации. Я знал, как любит Евтушенко сияющее, хотя и очевидное стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков», и ждал иной подачи поэта.

Самое невероятное, что самый близкий Мандельштаму человек, близкий ребром, а не только умственным, духовным и душевным настроем, автор высокой, трагической книги о нем, его жена Надежда Яковлевна Мандельштам завершила свой реквием устало-снисходительной ужимкой всезнания: Ося не великий поэт. Что за помрачение взора, видевшего любимого человека в такую глубину? Не хочется думать, что это слепота чрезмерной приближенности — слишком бедно для такой личности, как Надежда Яковлевна. Или тут смирение перед неумолимостью судьбы, которая все равно обманет, так не лучше ли самой — в упреждение — умалить родного великого человека? Или — что-то коренящееся в комплексе жены — загадочный и до боли обидный срыв?..

Зато знала Мандельштаму цену и не колебалась отдать первенство всевидящая и неподкупная Анна Ахматова. Увидела сразу — в рост — и назвала «молодым Державиным» равновеликая Анне Ахматовой Марина Цветаева. Если впоследствии ясный взгляд болярыни Марины в его сторону чуть замутился, то виноваты его собственные взбрыки. И вот что удивительно: Есенин, который в хмельном ожесточении чуть ли не с кулаками кидался на Мандельштама и поносил на чем свет стоит, однажды сказал с болью и чистотой совершенного поэтического бескорыстия: «Разве все мы пишем стихи? Вот Мандельштам пишет».

При жизни Мандельштама литературное непризнание — в юности у старших: Брюсова, Блока, в зрелые годы — у советской критики — сочеталось с неприятием его как личности. Опять же, люди значительные: Гумилев, Ахматова, Цветаева, Тынянов, Георгий Иванов, можно назвать еще много высоких имен, — не просто мирились с неудобным Мандельштамом, но искренне любили его. С. Маковский, ностальгически вспоминая в

парижском самоизгнании прошлое, а в нем Мандельштама, писал о его детскости, которой нельзя было не восхищаться. Можно. Эта его детскость, незащищенность, любовь к сладкому, беспричинный смех (он смеялся от «иррационального комизма, переполняющего мир») и рядом — резкая самостоятельность мнений, независимость, умственная и душевная, неподчиненность авторитетам, догмам, принятому мнению, правилам литературного поведения раздражали людей. Мандельштама старались высмеять даже за поступки, которые, будь они совершены другими, считались бы по справедливости героическими. Так, он разорвал список приговоренных к расстрелу, который собирался подмахнуть не глядя оголтелый чекист Блюмкин — убийца немецкого посла Мирбаха и завсегдатай литературных салонов. Об этом рассказывали с упором не на отчаянную смелость жеста, а на то, что Мандельштам с криком выбежал из комнаты, когда Блюмкин выхватил пистолет. Литературный эфемер и житейский хам, Амир Саргилжан оскорбил Надежду Яковлевну. Мандельштам доверчиво обратился к писательскому суду, и этот последний под председательством Алексея Толстого оправдал хулигана. Поэт дал ему публично пощечину. Но в литературной среде говорили не о поступке чести, а лишь о вельможном ответе советского графа: «Я настолько силен, что мог бы стереть вас в порошок, но я даже не подам в суд».

А непотребный шум вокруг «дела Горнфельда» — обвинение Мандельштама в плагиате? До сих пор непонятно, что двигало Горнфельдом, кто стоял за его кляузой. Вой поднялся такой, что впервые возмутилась сонная и равнодушная писательская общественность и выступила с коллективным письмом в защиту измученного Мандельштама.

Кухонная злоба человеческого нищедушия преследовала его и после смерти. Даже порядочный человек Э. Герштейн, обиженная Надеждой Яковлевной, разразилась книгой «Новое о Мандельштаме», которая, не прибавляя ничего нового к образу поэта, хорошо питает обывательскую неприязнь к духовности.

Что же держало Мандельштама на плаву? Да разве был на плаву этот вечно бездомный, почти нищий человек, то незамечаемый, то хищно преследуемый поэт, а потом узник, самоубийца-неудачник, ссыльный, живущий подаянием, наконец, лагерный зэк, не умерший, а сгинувший невесть на каком из островов архипелага ГУЛАГ? Было к нему и другое отношение. Весной 1933 года Мандельштам дважды выступал в Ленинграде. Анна Ахматова писала: «Осипа Эмильевича встречали в Ленинграде как великого поэта, persona grata и т. п. К нему в

„Европейскую“ гостиницу на поклон пошел весь литературный Ленинград… и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет и вспоминают еще сейчас».

О его вечере в Москве писал Н. Харджиев: «Мандельштам — единственное утешение. Это поэт гениальный… Мандельштам держал слушателей, как шаман, целых два с половиной часа. Он читал все стихотворения, написанные за последние два года, в хронологическом порядке. В них было столько заклинаний, что многие испугались. Даже Пастернак испугался, промолвив: „Я завидую Вашей свободе. В моих глазах Вы новый Хлебников. И такой же чужой, как он. Мне нужна не свобода“. (Замечательное признание! — *Ю.Н.*) На провокационные вопросы придворных поэтов Мандельштам отвечал с высокомерием пленного императора».

И все же не это главное. Мандельштама держало то, что он всегда оставался Мандельштамом, знающим себе цену. Он рос, невероятно рос, понимая свою огромность. В самую страшную пору, когда казалось, что дальше уже некуда, он писал:

И не ограблен я и не надломлен,
Но только что всего переогромлен.
Как «Слово о полку», струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля — последнее оружье —
Сухая влажность черноземных га…

Только графоманы и гении обладают такой вот безграничной — вопреки всему — верой в себя. Мандельштам не был графоман. Когда-то он сказал о замечательном пианисте Генрихе Нейгаузе вещие слова, полностью применимые к нему самому, да они и были выражением его поэтической веры:

Не прелюды он и не вальсы
И не Листа листал листы —
В нем росли и переливались
Волны собственной правоты.

К этой правоте Мандельштам шел семимильными шагами: от туманностей и очарованности своего раннего символизма, когда он не верил в собственную материальность: «Неужели я настоящий и действительно смерть придет?», не верил слову и красоте, заклинал их не воплощаться: «Останься пеной, Афродита, // И, слово, в музыку вернись», через вещественный и

здравомыслящий акмеизм: «Нет, не луна, а светлый циферблат // Сияет мне, и чем я виноват, // Что слабых звезд я ощущаю млечность», к такому объемному постижению всего сущего, такому охвату его неслыханным словом, что постижение это обернулось зиждительством, возведением собственной вселенной, ничем не уступающей Боговой. Тут нашлось место земле и небу, пространству и времени, историческому прошлому и настоящему, храмам, дворцам, избам, квартирам, человеку горнему и человеку среди утвари, всему мировому напряжению, создающему религию и культуру.

Поэт был для Мандельштама строителем. Через всю его поэзию прошло восхищение строением — стихи о Нотр-Дам, Айя-Софии, Реймсском, Кельнском, Исаакиевском, Казанском соборах, Адмиралтействе. Иисус основал свою церковь на камне — Петросе, камень — в основе поэтической постройки Мандельштама, недаром первую свою книгу он назвал «Камень».

Построив свою церковь и ощутив ее этическую и эстетическую огромность, согласившись принести ту искупительную жертву, которой оплачивается возведение нового Дома Господня, Мандельштам не обмолвился, а всей звучной гортанью сказал Иисусово: «От меня будет миру светло».

Автор лучшей книги о Мандельштаме, Никита Струве, до этого бесстрашно шедший за ним в его глубь, как Данте за Вергилием по кругам ада, здесь слегка оступился. При другом, подобном же высоком уподоблении, он вдруг тонким голосом завел, что не может же Мандельштам с его пиететом к Господу Богу… Может, он все может, недаром его ненавидели пигмеи. Нет, только так открывается во всей полноте и завершенности беспримерный путь поэта и непреложность его исхода — без воплощения нет Мандельштама. В молодом, изумительном, но еще незрячем стихотворении «Лютеранин» далекий от понимания своего масштаба Мандельштам говорил: «Мы не пророки, даже не предтечи». Конечно, он не пророк и не предтеча, он тот, о ком пророчат, кому предтекают. Как и Христос, Мандельштам обладал правом выбора и выбрал путь, ведущий на Голгофу.

Его Голгофа была едва ли не страшней Иисусовой. Муки Сына Человеческого: истязание, венчание терновым венцом, путь под тяжестью креста по нынешней недлинной Делароза — от дома Пилата до Голгофского холма, томление на кресте — завершились в течение дня, а там было снятие с креста, пеленание, положение во гроб и вознесение. У Мандельштама муки растянулись на месяцы, может быть, на год, никто не знает, когда, где и как он умер. Но слухи об исходе великого поэта России ужасны. Кто видел голодного безумца, читающего стихи у

лагерного костра за хлебную корку, кто — блокадный призрак, так довел он себя голодом из боязни быть отравленным, кто — задыхающегося доходягу в битком набитом трюме то ли по расчету затопленной, то ли потонувшей в шторме тюремной баржи. Большинство слухов сходится на одном — признаках безумия. А это страшнее всего. «Не дай мне Бог сойти с ума», — молил Пушкин, не боявшийся ни страданий, ни смерти. И никто не протянул умирающему жестом милосердия губку, смоченную в освежающем питье: смеси вина, уксуса, воды. И никто не спеленал его тела и не положил во гроб. Могилы Мандельштама нет, как нет могил Леонардо и Моцарта. Иисус на горе Елеонской молил Отца небесного пронести мимо предназначенную ему чашу. О том же устами Гамлета просил Пастернак, хотя угроза ему не была столь велика. Когда Сталин объявил Маяковского «лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи», Борис Леонидович послал ему благодарственное письмо: Сталин снял с его плеч непомерную ношу считаться первым стихотворцем. Нельзя было устоять перед такой непробиваемой наивностью, и вождь дал указание «оставить в покое этого небожителя».

Для Мандельштама, как и для Ахматовой, настанет час взмолиться о чаше — чтобы мимо, чтобы помиловали. Ахматова сделает это ради несчастного сына холодными «сталинскими» стихами; Мандельштам сдастся измученным глазам «нищенки подруги», перекошенному страхом рту жалкого брата и собственной усталости, он введет Сталина в стихи — мастеровитые, как и все, что выходило из-под его пера, но мертвые. Искушенный в поэзии и сервилизме вождь не поддался на удочку, сразу увидев, насколько эти чеканные строчки слабее вырвавшейся из сердца хулы про кавказского горца или ходившего по рукам «Фаэтонщика»: «Он безносой канителью // Правит, душу веселя, // Чтоб вертелась каруселью // Кисло-сладкая земля…» Поняв, что чаши не избежать, Мандельштам плюнул на все и бодро понес свой крест на Голгофу. Да, бодро, ибо поразительна поэтическая мощь его черных воронежских дней, на такую высоту не поднимался ни он сам, ни какой другой поэт века, да и что может быть выше Голгофы?

В упомянутой мною книге Никиты Струве найден ключ к такому сложному явлению, как Осип Мандельштам. Во главу своего исследования он поставил понятие судьбы в христианском смысле: не слепой рок, а свободное исполнение человеком Божьего замысла. «Мандельштам, — пишет Струве, — не только не ушел от своей судьбы, он пошел ей навстречу, выбрал ее и овладел ею. 16 строчек о Сталине в ноябре 1933 года никак нельзя рассматривать как случайность, как безрассудное

дерзновение: они сердцевина жизненного и творческого пути, его итог и предопределение».

Неужели личная судьба и в самом деле должна подтверждать правоту поэта? Когда-то Кюхельбекер сказал: «Тяжка судьба поэтов всей земли, но горше всех — певцов моей России». Пушкин и Лермонтов сознательно шли на пулю. Их роковые поединки не имеют ничего общего с галантными дуэлями Фердинанда Лассаля и Эвариста Галуа, хотя и тут был смертельный исход. Но одно дело, когда к барьеру ведут правила рыцарской игры, другое — давление жизненных обстоятельств и собственный неотвратимый посыл. Пуля подтвердила поэтическую правоту Гумилева и Маяковского (правотой может быть и расплата за измену поэзии), петля — Есенина и Цветаевой; Блок был заморен голодом с собственного согласия, Клюев сгинул то ли в ссылке, то ли в лагере, та же участь постигла Клычкова, Хармса и Введенского, Пастернака затравили, список можно бесконечно расширять. Случалось в большом поэтическом хозяйстве России, что Орфей выводил из ада Эвридику: трагическая жизнь Ахматовой увенчалась признанием и славой. Но это исключение. Может, потому и не могла так долго состояться поэтическая судьба гениального Тютчева, что великий любовник, остроумец и баловень гостиных не искупил ее жертвой? Коли твой голос прорезал смутное многоголосье, вырвался из хора, то подтверди кровью свое право «глаголом жечь сердца людей». Ахматова говорила, что не могла бы пожелать поэту Мандельштаму лучшей судьбы, она восхищалась арестом и ссылкой Бродского: ему делают прекрасную судьбу. Надо сказать, что на Западе к поэту подобных требований не предъявляют. Судьбы Вийона, Шенье, Клейста нетипичны. Более естественны академические лавры и почести. Нынешние ведущие советские поэты тоже не гибнут, а становятся секретарями СП и лауреатами. Прежде наша родина куда строже спрашивала с лироносцев.

Но даже в ряду отечественных поэтов-страдальцев, поэтов-жертв участь Мандельштама беспримерна. Прежде всего — по сознательности и твердости выбора, именно выбора, а не пассивного принятия. У него не было никаких иллюзий, когда он выбирал, — он встал и пошел…

Попробуем пунктирно проследить путь Мандельштама, смешно посягать на большее в кратком очерке, когда и тома новых исследований (зарубежных) не могут исчерпать этой темы. Даже в прекрасной работе Никиты Струве мне недостает анализа отдельных стихотворений. В тех немногих случаях, когда Струве приступает к такому пристальному разбору, он все-таки недостаточно подробен. И мне вспоминается статья Иосифа

Бродского, посвященная анализу одного стихотворения Марины Цветаевой. Адресат стихотворения — Эрих Мария Рильке — ее далекая любовь. Все тут очень личное, зашифрованное и, как мне казалось, безнадежно непрочитываемое. Но вот его коснулся смелый, острый и точный скальпель равновеликого поэта, и стихотворение распахнулось, раскрылось во всю глубь, темные далекие ассоциации высветились, будто вынули драгоценность из запертого футляра, и вот она на твоей ладони сверкает, переливается, играет всеми гранями. И какое наслаждение перечитать отягощенные важным смыслом и теперь понятные строки!

Никита Струве не поэт, а талантливый и добросовестный исследователь и не допускает себя до столь беспощадной и, в прекрасном смысле, наглой проницательности. А может, это правильный расчет собственных сил: ученый не может посягать на то, что открывается интуиции и тайномыслию поэта. Вот если бы Бродский под добрую руку сделал для Мандельштама такую же работу, как для Цветаевой!

Но обязательно ли расшифровывать Мандельштама, а если нет, то можно ли наслаждаться не прочитанными до конца стихами? Помните у Лермонтова:

> Есть речи — значенье
> Темно иль ничтожно —
> Но им без волненья
> Внимать невозможно.

Лермонтов первый в русской поэзии обнаружил, что со словом не все так просто, не всегда оно очевидно, не всегда совпадает с сутью. Вот комический пример тайнозначия слов из «Пиквикского клуба». Мистера Пиквика судят за мнимое нарушение брачного обязательства. Адвокат истицы, вдовы Бардль, хитрый крючкотвор Бацфус, опирается на фразу мистера Пиквика, сказанную им вдове: он попросил грелку в постель. Бацфус уверяет, что Пиквик имел в виду не прибор для согревания простынь, а саму вдову. Любовники сплошь да рядом называют друг друга чем угодно, только не по именам: рыбкой, ласточкой, втулочкой, почему же не назвать грелкой аппетитную вдовушку? Если отвлечься от данного конкретного случая, то это верно: любовная игра порой такие слова изобретает, какие не снились ни одному заумщику, но ведь любовники отлично понимают друг друга. Значит, слово свободно от изначального смысла, и если поэт принял это в свою кровь, он может говорить на птичьем языке любви, который будет волновать, даже

оставаясь непонятным.

Поэтическое движение Мандельштама шло по линии раскрепощения слова, полнейшей свободы ассоциаций, преодоления временных и пространственных рамок. Вот, кажется, последнее стихотворение, написанное в Воронеже, возможно, и вообще последнее:

Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.

В конце короткого стихотворения — картина ухода из Киева красноармейцев в пору Гражданской войны. Завершается все криком «сырой шинели»: «Мы вернемся еще, розумийте!»

Вроде бы все ясно как день, названы время и место, четко обозначены персонажи. Но есть тайна — второй, пророческий смысл. Вот так будет метаться уроженка Киева, вдова поэта Надежда Мандельштам, гонимая за мужа-преступника, по всей стране, не находя нигде твердого пристанища. И так же сухо будет лицо сильной любовью и ненавистью женщины, подчинившей себя одной цели: спасти, сохранить стихи погибшего. Мандельштам это предвидел — он предвидел и куда более скрытое — и соединил горе «жинки» с горем оставляемого неприятелю города, где «пахнут смертью господские Липки» и где он однажды пережил разлуку с той, что стала его женой.

Вершина мандельштамовской поэзии — «Стихи о неизвестном солдате» входят в душу взрывами страшных откровений сквозь мучительный туман тайнописи, но последней строфой озаряется весь мрачный громозд апокалипсической картины мира, созданной поэтом. Это перекличка убиенных:

— Я рожден в девяносто четвертом…
— Я рожден в девяносто втором…

В тризну по всем погубленным: в войнах, революциях и мирном душегубстве голодом и статьями — поэт включает себя:

И в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном

Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

Он как будто бы знал, что дата его смерти останется неизвестной, как и место погребения, если погребение вообще было, и хочет врезать потомкам в память день своего появления на свет, хотя бы одним краем прикрепиться к времени.

После этого затянувшегося отступления вернемся к нашему намерению проследить поэтический путь Мандельштама. Выше приводились строки из его символического стихотворения «Silentium». Не менее знаменито вот это:

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди!
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади…

Ни одному барду одряхлевшего символизма и не снились такие стихи. Уже в том же году «пустая клетка» заполнилась, да еще как! Н. Гумилев повел отсчет акмеистического Мандельштама от этих вот коротких стихов:

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, — и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь:
Который час, его спросили здесь,
И он ответил любопытным: вечность!

Вот так досталось отвлеченному Батюшкову от строгого и трезвого Мандельштама, человека точных координат. Боже, как прекрасна эта гениальная игра!

Он сам исчерпывающе и сжато сказал о сути акмеизма: «Прочь от символизма, да здравствует живая роза!» Новую русскую поэзию Мандельштам вел от Иннокентия Анненского, обладавшего внутренним эллинизмом, адекватным духу русского языка. А что такое «эллинизм» по Мандельштаму? «Эллинизм — это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это домашняя

утварь, посуда, все окружение тела; эллинизм — это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая одежда, возлагаемая на плечи любым. Эллинизм — это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло, как родственное его внутреннему теплу».

Он полюбил прочную и вескую материю камня. Воспевал камень, одухотворившийся в соборы и города. Здесь начинается его проходящая через всю жизнь тема Петербурга. Первое в этом ряду стихотворение — «Петербургские строфы» — посвящено старшему другу Николаю Гумилеву, наставнику, умному, доброму критику, но не учителю. Учителей не было, были предшественники: Вийон, Державин, Батюшков, Тютчев, Верлен. Мандельштам упивается точным и цепким словом. Он зовет своего младшего соратника по цеху поэтов Георгия Иванова:

Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло…

В этих стихах молодого Мандельштама проглядывает восхищение глупой гусарской юностью, беспечностью и здоровьем, совсем как у старого Льва Толстого, только без оттенка зависти. Я не оговорился, сказав «гусары», — уланы не стояли в Царском Селе, это описка поэта.

Дальше стихотворение приобретает едкую сатиричность в обрисовке обитателей Царского Села: однодума генерала, кичливого князя-офицера и напугавших поэта «мощей» старой фрейлины. Как странно, что многие исследователи считали это стихотворение чисто описательным, холостой тратой акмеистических мускулов.

Мандельштам приветствует «реалии», как сказали бы мы сейчас, американизирующегося общества, раньше других подметив это явление, стихотворениями: «Кинематограф», «Американка» и «Американский бар». Первым после Лермонтова в русской поэзии он обращается к теме спорта. Лермонтов живописал кулачную потеху — русский бокс со смертельным, как положено в России, исходом, Мандельштам — теннис. Потом и футбол появится. Поэт, у которого полушки за душой не было, восхищается игорным домом — на дюнах казино. В эту пору Мандельштам съездил за границу, хотя до сих пор неясно, где ему довелось побывать. Лучшие из «зарубежных» стихов посвящены Венеции и Риму, но, кажется, до Италии он не добрался.

Если верить стихам — а им надо верить до известного предела, ибо они не дневник, а творчество, — Мандельштам в эти годы упивался жизнью. Носил котелок, стал отращивать бачки. Он позволяет и любви заглянуть в целомудренную келью своей поэзии — «Ахматова». Война 14-го года всколыхнула его поначалу на изящные стихи «Собирались эллины войною // На прелестный остров Саламин». Многих разозлило кощунственное в подобном контексте слово «прелестный». Затем он посерьезнел, отдал естественную дань патриотизму, но уже в 16-м году затянувшаяся бойня вызывала у него лишь чувство отторжения.

Очень важным является появление темы Рима в творчестве Мандельштама. Глубокий поклон Риму значил для него обретение христианства. Естественным стало для него и крещение в христианскую веру. Правда, он принял лютеранство, а не православие, но не в силу приверженности к протестантско-бюргерским символам веры, а потому, что, будучи российским жителем, не хотел брать на себя культовые обязательства православия — он был религиозным, а не церковным человеком. Кроме того, не хотел упреков в расчетливости.

Он как будто присматривался к лютеранству и католичеству стихотворениями «Лютеранин» и «Аббат». В первом он живописует простые, строгие и легкие лютеранские похороны, чуть бездушные в своей чинности, что приводит его к безрадостному выводу:

> И думал я: витийствовать не надо.
> Мы не пророки, даже не предтечи,
> Не любим рая, не боимся ада
> И в полдень матовый горим, как свечи.

Все горько и справедливо, кроме местоимения «мы», — поэт-пророк напрасно распространяет на себя нашу тусклость и равнодушное смирение перед вечностью.

«Спутник вечного романа аббат Флобера и Золя», спешащий на обед в замок, предсказывает Мандельштаму: «Католиком умрете вы». Наверное, Мандельштаму в его очарованности Римом казалось, что он разделит судьбу Печорина и кн. Голицына. И аббат, и поэт оба ошиблись. В недалеком будущем Мандельштам внезапно и резко охладеет к Риму и сблизится с Элладой — не с античностью и ее эриниями, а с Грецией, принявшей Христа. Наследницей Греции была для поэта не «бездетная Византия», а Россия и русское православие. Но это все позже, это наполнит новую книгу «Tristia», а в «Камне» Мандельштам поет цезарийский Рим, принявший первых христиан, и папский Рим с

троном наместника Бога.

И все же в «Камне» обозначилась новая любовь, что уведет его из Рима, а там и вовсе сотрет в памяти образ Вечного города. С великолепной поэтической забывчивостью Мандельштам станет утверждать, что «никогда он Рима не любил». Вот начало стихов, уже и стилистически предсказывающих новый этап поэтической работы:

> Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
> Я список кораблей прочел до середины:
> Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
> Что над Элладою когда-то поднялся.

А завершает книгу опять же Греция, хотя стихотворение посвящено театру Расина: «Я не увижу знаменитой „Федры“». В конце — глубокий задумчивый вздох: «Когда бы грек увидел наши игры…»

Греческие игры Мандельштама, которыми так насыщена «Tristia», начинаются опять же с «Федры», но уже не Расиновой, а той, что в каменной Трезене запятнала трон мужа своего Тезея. Мандельштам обретает не воображаемую, а на ощупь, Грецию в каменистой Тавриде[1], в той части Крыма, что так похожа на Пелопоннес: от Керчи до Судака, с греческой Феодосией, с Коктебелем, чьи низкорослые пыльные акации похожи на оливы и где на берег выбросило обломок Одиссеева весла. Одно из самых его величавых стихотворений посвящено Тавриде: «Золотистого меда струя из бутылки текла…» Завершается оно бессмертными словами: «И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, // Одиссей возвратился, пространством и временем полный». Ну а вершина сборника — «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы…». Самый сильный мотив этих стихов — расставание. Это имеет почву в биографии поэта: совершилась Октябрьская революция, и началась для него пора разлук и странствий — нищая одиссея.

Но именно в этом сборнике со взором, обращенным вспять, поверх ушедших столетий, поэт начинает соединяться со своим временем, обретать в нем прочную ячейку. При его чувстве истории и проницательности он не мог впасть в ошибку Блока, увидевшего Христа во главе революционно-уголовного шествия и приговорившего себя к нежизни, когда обнаружил роковое заблуждение, но Мандельштам избежал и слепоты, постигшей таких разных художников, как Иван Бунин и Зинаида Гиппиус, не позволившей им ничего увидеть в происходящем, кроме окаянства. Он принял мрачное величие переворота, его

неотвратимость: «Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий // Скрипучий поворот руля. // Земля плывет. Мужайтесь, мужи». Последний призыв он обращает прежде всего к самому себе. И как известно, внял призыву.

Революция приучила Мандельштама к отъездам, похожим на бегство, к терпким расставаниям: «Я изучил науку расставанья // В простоволосых жалобах ночных». Он был не из тех, кто способен покинуть свою «грешную землю» (и уехать послом, скажем, в Сан-Марино), но, подобно тысячам других сдутых с места жителей, метался по стране, ища хлеба и убежища. Он не умел прокормиться в родном Петербурге.

Эти метания приводили его то в Киев, то в Феодосию, то в Коктебель под доброе крыло Волошина, то в Батум, то в Тифлис горбатый, то в Москву. Почти всюду Мандельштама арестовывали и даже пытались раз-другой расстрелять. За что? За непохожесть, за выпадение из окружающего, за чуждость простому и грубому духу эпохи (он скажет впоследствии: «Нет, никогда ничей я не был современник»); часовым революции и контрреволюции равно казалось, что этот не умещающийся в привычных координатах человек должен быть изолирован, а еще лучше — пущен в расход, чтоб не смущал взора. Только чудом спас его Максимилиан Волошин. Но этого человека, боявшегося участка, о чем с удовольствием пишут мемуаристы, в глубь души было очень трудно испугать. И, выпущенный на волю после очередного ареста в меньшевистской Грузии, он пишет о Тифлисе веселые, свободные, хмельные стихи, и никакой завсегдатай духанов не мог бы так прославить шашлычно-винный город у слияния Арагвы и Куры.

В «Тристии» продолжается тема Петербурга, обретая в послереволюционном стихотворении «В Петербурге мы сойдемся снова…» ту трагическую ноту, которая похоронной безысходностью зазвучит в знаменитом «Ленинграде» (декабрь 1930 г.):

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез». Это уже безнадежность. А пока ему кажется, что «в черном бархате советской ночи, // В бархате всемирной пустоты // Всё поют блаженных жен родные очи, // Всё цветут бессмертные цветы».

Обратите внимание на «поющие очи». Это продолжение Дантовой метафоры: веки — губы глаз. А губы поют. Прием — обычный для Мандельштама. Его метафоры часто можно отыскать в почве Вийона, Данте, Державина, Батюшкова, Тютчева, особенно — Лермонтова, которого он называл своим мучителем. Цитаты — это цикады, говорил Мандельштам, ими неумолчно напоен воздух. Ты становишься собственником цитаты, введя ее в свой

духовный мир.

Следующий короткий этап поэзии Мандельштама не стал книгой при всей своей значительности и завершенности, он вошел как «Раздел 1921–1925» в сборник «Стихотворения», изданный в 1928 году, когда поэт переживал кризис долгого молчания. В этом цикле такие шедевры, как «Концерт на вокзале», «Умывался ночью на дворе…», «Век», «Нашедший подкову», «Грифельная ода», «1 января 1924», «Нет, никогда ничей я не был современник…», «Вы, с квадратными окошками невысокие дома…».

Могучими стихами свидетельствует Мандельштам о своей растерянности перед постигшим его открытием, что хребет века безнадежно сломан:

И еще набухнут почки,
Брызнет времени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

Поэту и прежде случалось нередко говорить от первого лица, хотя он не злоупотреблял местоимением «я», но то не был Мандельштам во плоти и крови, а некий его представитель, которому поэт вручал необходимую часть себя — своей тоски, печали, любви, гнева, напряжения мысли. Здесь он целиком воплотился в «я» стихов. Это все о себе, о себе единственном, а не о том, кому он доверял право говорить от своего имени или в кого он, резвясь, играл.

Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит
к концу.
Спасибо за то, что было:
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете.
……..
Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,
Но крутой поворот его шеи
Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными
ногами, —
Когда их было не четыре…

И вот заключительные строки этого страшного стихотворения «Нашедший подкову»:

Время срезает меня, как монету,
И мне уже не хватает меня самого…

В первый день января 1924 года Мандельштам вновь стал разбираться с веком, умирающим, по его мнению, окончательно лишь сейчас. В щемящей неясности и жалости к нему поэт становится сильнее века-властелина, припадающего к его руке:

…И к млеющей руке страдающего сына
Он, умирая, припадет.

Но близка и гибель поэта, ибо она в немоте, которой не избежать:

…Еще немного — оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.

Он человек, он мечется, пытается уговорить себя: ничего страшного, твою целость гарантируют малиновый свет аптеки и щелканье «ундервуда». «Чего же тебе еще? Не тронут, не убьют». Но в последнем он не очень уверен и поддерживает свой дух иным:

Ужели я предам позорному злословью —
Вновь пахнет яблоком мороз —
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы, крупные до слез?

Четвертое сословие — это народ, впервые признается Мандельштам в своей преданности ему — до смерти. Вот она, белеющая солью совесть. Здесь проясняется, что соль, ставшая доминантой поэзии Мандельштама, — это совесть. И она не пускает поэта от своего порога. Он остается — без утешения поэзией. Больное время шелушится советской сонатинкой, и лира современного певца — пишущая машинка — способна родить лишь тень былых могучих сонат.

Не исчерпав себя этим пронзительным стихотворением, Мандельштам создает вариант, в котором утверждает: «Нет,

никогда ничей я не был современник», но вдруг, смиряя вызов, предлагает «с веком вековать». В стихах этого времени — мучительная раздвоенность и неспособность сделать окончательный выбор.

Еще раз с необычайным для него житейским теплом он вспоминает Петербург. Сегодняшний город дан лишь намеком на грустное запустение: незамерзший, торчащий щучьими ребрами каток и слепенькие — свет вполнакала — прихожие с ненужными коньками, а старый Петербург — добросовестным товаром гончара на канале, мандариновой кожурой Гостиного двора, золотым мокко, смолотым электрической мельницей, докторскими приемными «с ворохами старых „Нив“», оперой и бестолковым последним трамвайным теплом. Все такое домашнее, уютное, что вовсе исчезло у Мандельштама, у которого и в быту, и в поэзии теперь — ледяной сквозняк.

Великолепным стихотворением «Из табора улицы темной…» он расстается с поэзией на пять лет. Будет прекрасная проза «Египетской марки», переводы навалом, натужная зарифмованная шутка о глухой, упрямой старушке, путающей Бетховена, Марата и Мирабо, но поэзии не будет. А ведь он находился как раз на середине жизненного пути — так отмерил человеку век возлюбленный им Данте, — в самом расцвете физических и душевных сил. В чем же причина внезапной немоты? Наверное, прежде всего в том, о чем он говорил в «Нашедшем подкову»: ошибся, запутался, сбился с пути. И — это уже мой домысел — оробел перед тем окончательным выбором, от которого не уйти было такому бескомпромиссному и внутренне свободному человеку, как он. Но он еще отводит свой взгляд от чаши, которую подвигает ему рука Всевышнего. Душу корежили, уводя от главного, газетная травля, злосчастная история с Горнфельдом, жестокая бытовая неустроенность.

Разбужен для поэзии он был в 1930 году — выстрелом Маяковского. Он понял, что с этой властью и этим временем не может быть высокого договора, коли уже безупречное служение, принесение в жертву таланта и сердца не спасает от гибели. И он решился. А тут еще выпала поездка в Армению, ошеломившую его лазурью и глиной, близоруким небом и дикой кошкой царапающей речи; «орущих камней государство» сотрясло его безбожно разбазариваемую на быт, обиды, мелкие схватки, жалкие страхи душу, пробудив великую энергию творчества.

Несколько неожиданно Армения зарядила Мандельштама и социальным протестом. А потребовался для этого всего лишь приставленный к нему чиновник:

Страшен чиновник — лицо как тюфяк,
Нету его ни жалчей, ни нелепей,
Командированный — мать твою так! —
Без подорожной в армянские степи.

Но за ничтожным этим чиновником — давящая сила полицейского государства, заставляющая людей «ходить по гроба, как по грибы деревенская девка!..». В последней строфе он подводит справедливый итог своему путешествию:

Были мы люди, а стали людьё,
И суждено — по какому разряду? —
Нам роковое в груди колотье
Да эрзерумская кисть винограду.

Хорошо сказал Никита Струве: «Уезжал Мандельштам незрячим, а вернулся всевидящим».

А вернулся он в свой родной город и вдруг увидел, что это и в самом деле Ленинград, а не Петрополь и не Петербург. И к этому городу он обратился стихотворением, которое так и назвал: «Ленинград», хотя обращение сохранил прежнее: Петербург. Он пытается убедить себя, что это все еще его город, «знакомый до слез, // До прожилок, до детских припухших желез», что свет речных фонарей целебен ему, как рыбий жир ребенку.

Но интонация хрупкой бодрости ломается взрыдом:

Петербург! Я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Конец зловеще двусмыслен:

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Кого он ждет? Мертвых друзей, или уцелевших, или — это куда вероятнее, коль дверные цепочки для него кандалы, — тех дорогих гостей, что являются далеко за полночь и о своем появлении не предупреждают телефонным звонком.

Они явятся в свой час, не в Ленинграде, в Москве, но он их уже ждет, о чем говорят и два маленьких стихотворения, написанных после «Ленинграда».

Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь — за Твою рабу…
В Петербурге жить — словно спать в гробу.

И бесконечно грустное обращение к жене:

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин;

Острый нож да хлеба каравай…
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

Кажется, Николай Чуковский видел их на Московском вокзале, где они сидели на кое-как завязанной корзине в ожидании дешевого пассажирского поезда.

Мандельштам уже согласен на Сибирь, но хочет уйти туда сам, чтобы пасть от руки равного, а не от века-волкодава, кидающегося ему на плечи — сзади («За гремучую доблесть грядущих веков…»).

Органная эта мощь прозвучала у Мандельштама между двумя легкокрылыми печалями: «Я скажу тебе с последней // Прямотой: // Все лишь бредни — шерри-бренди, // Ангел мой!» и «Жил Александр Герцевич, // Еврейский музыкант, — // Он Шуберта наверчивал, // Как чистый бриллиант».

До чего же ясно видел Мандельштам свою судьбу! В горчайшем стихотворении «Колют ресницы. В груди прикипела слеза…» он за семь лет до второго ареста и лагеря уже все знал:

С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.

И в разгар этих провидческих наитий он вдруг пишет и печатает (!) невероятное по вызову стихотворение: «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня», где дерзко перечисляет ценности прошлого, оставшиеся и поныне достоянием свободного мира: от музыки сосен савойских до бискайских волн и сливок альпийских, от «роллс-ройса» до масла парижских картин, — веселый и наглый гимн европейской наполненности бытия. Ох и погуляла же критическая дубина по его лысеющей голове!

А ему и горюшка мало, «в нем росли и переливались волны собственной правоты» — высшее, чего может достичь художник. Он лишь просит Анну Ахматову сохранить его «речь навсегда за привкус несчастья и дыма». И она сохранит — навсегда.

В стихотворении «Полночь в Москве…» он, как будто отказавшийся от всякого современничества, точно определяет себя по времени: «Я человек эпохи Москвошвея, — // Смотрите, как на мне топорщится пиджак… // Попробуйте меня от века оторвать! — // Ручаюсь вам, себе свернете шею!» Тут нет противоречия: да, он над временем, и он же во времени со всеми его малостями: клоунами Бимом и Бомом, медведем на бульваре (бедняга Топтыгин назван вечным меньшевиком природы), с бутылочной гирькой кухонных часов, но он не предает времени, ради которого «разночинцы рассохлые топтали сапоги». Он примет смерть, как пехотинец, но не прославит «ни хищи, ни поденщины, ни лжи». И он приказывает себе не хныкать, не жаловаться. Он это сумеет, ибо «человек эпохи Москвошвея» стоит над временем — для него эпохи взаимопроникаемы и в городе, где «с дроботом мелким расходятся улицы», к Рембрандту в гости идет. Рафаэль, не чающий с Моцартом души в Москве «за карий глаз, за воробьиный хмель».

Похоже, что петербуржец Мандельштам и сам не чает души в Москве, хотя у него находится для нее и немало жестких слов. В трех барочно избыточных стихотворениях он, как там ни крути, славит Москву, соблазняющую его «разбойником Кремлем», Воробьевыми горами и рекой Москвой «в четырехтрубном дыме» (МОГЭС); он приветствует молодых рабочих «татарские сверкающие спины» — «Здравствуй, здравствуй, // Могучий некрещеный позвоночник, // С которым проживем не век, не два!». Какая радость существования в этом задыхающемся, почти нищем, безбытном человеке, к тому же точно знающем свой конец.

То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белокурой тростью выхожу,
Я слушаю сонаты в переулках,

У всех лотков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях —
И не живу, и все-таки живу.

И как еще о многом надо ему сказать! Поражает многотемье этой поры — поэта распирает чувство сиюминутной жизни тревожат тени предтеч: одарив Батюшкова дивной одой, он в другом стихотворении ласкает имена Тютчева, Веневитинова Баратынского, Лермонтова, Фета и бородатого Хомяков. И вдруг, словно спохватившись, что забыл первую любовь, по-домашнему привечает Державина, а с ним и Языкова, неожиданно соединив эти имена. А там им завладевает Ариост — к итальянцам у Мандельштама особое отношение: Данте его кумир кумиров. Мировое литературоведение не знало ничего равного мандельштамовской большой статье (целой книге) об авторе «Божественной комедии».

Все еще во власти адриатических грез, Мандельштам попадает в Старый Крым, На страницах нашей печати не раз сетовали на заговор молчания вокруг страшной трагедии Украины — голода тридцатых годов, организованного Сталиным для уничтожения мелкобуржуазной стихии крестьянства. Это не так: не молчали А. Платонов и Б. Пильняк, не смолчал и Мандельштам.

Холодная весна. Голодный Старый Крым,
Как был при Врангеле — такой же виноватый.
Овчарки на дворах, на рубищах заплаты,
Такой же серенький, кусающийся дым.
……
Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины, Кубани…
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая крыльца…

По возвращении в Москву Мандельштам получил неожиданный подарок: комнату в писательском доме по улице Фурманова с готовым стукачом за стеной. Борис Пастернак, приглашенный на новоселье, простодушно порадовался за собрата: «Теперь, чтобы писать стихи, вам не хватает только стона». Никто не умел так раздражать Мандельштама, как Борис Леонидович, что не мешало ему написать лучшие слова о пастернаковской поэзии. Едва гость ушел, Мандельштам в яростном порыве разделался с щедрым даром, молчаливо

требовавшим от него ответного поклона. Для этого ему не понадобилось даже стола:

Квартира тиха, как бумага —
Пустая, без всяких затей, —
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.
……
А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
А я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.
……..
Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.
……
Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель,
Такую ухлопает моль.
……
И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

Хочется говорить о каждой строке Мандельштама, это поэт без пустот, без проходных стихов, но что поделаешь, и после жизни ему так же скупо отмеряется площадь, как и до смерти. А ведь в эти годы были созданы восьмистишия, где столько природы, где «Шуберт на воде», и «Моцарт в птичьем гаме», и «Гете, свищущий на вьющейся тропе» (слышите свист?), и «Гамлет, мысливший пугливыми шагами»… Тогда же появляется бесподобный цикл памяти Андрея Белого, чьей смертью не слишком жаловавший его при жизни поэт был потрясен. Мандельштам не любил символизма Белого, даже поразительный язык его прозы оставался ему чужд, но именно Белому читал он свой труд о Данте. То был высокий собеседник, а их осталось, увы, немного, живая память целой эпохи, гоголек, заводивший кавардак на Москве, «собиратель пространства, экзамены сдавший птенец, // Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец». Без него слишком пресной, прямой и простой станет

мысль, а быть может, «простота — уязвимая смертью болезнь»? Вся практика нашей скорбной жизни убеждает, что нет ничего опаснее простоты и кривее прямизны.

По-мандельштамовски не просто и не прямо оплакав Белого, а с ним и свое прошлое, Мандельштам вышел на последнюю прямую, которая скривит его в гибель, произнеся с набатной гулкостью в стране, «взявшей на прикус серебристую мышь» — индийский образ тишины, молчания из другого стихотворения, а по-русски — воды в рот набравшей, все, что он думает о кавказском горце: «Мы живем, под собою не чуя страны»…

Но перед тем он дал себе пережить последнюю бурную влюбленность — в поэтессу Марию Петровых.

Ты, Мария, — гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить — уснуть.
Я стою у твоего порога.
Уходи. Уйди. Еще побудь.

Последняя точка — чудо лаконизма; сколько чувств выражено такими скупыми средствами: два глагола, три точки.

На этом кончилась жизнь и началось житие. Напомню вехи: пощечина Алексею Толстому, возможно, ускорившая все остальное, арест, путь по Каме в ссылку, Чердынь, попытка самоубийства, Воронеж.

Жизнь возвращалась медленно, поэзия вернулась внезапно и бурно апрельскими днями тридцать четвертого года, когда пробуждается природа и так сладко пахнут синие пласты чернозема. «Чернозем» — чуть ли не первое стихотворение ссыльного Мандельштама. Нет, раньше было стихотворение, навеянное скрипкой Галины Бариновой, давшей концерт в Воронеже. Музыка всегда была для Мандельштама острейшим переживанием и таким интимным, что он не мог говорить с близкими людьми о своих концертных впечатлениях. Мандельштам зажался, молчит, уводит глаза — значит, он с концерта. Но мог говорить, будем высокопарны, с Музой. Пробужденный музыкой и землей, Мандельштам исполнился любви к жизни. Стрижка детей, когда «машинка номер первый едко // Каштановые собирает взятки», заставила его почувствовать блаженную полноту мира и свою способность этой полноте отзываться:

Еще стрижей довольно и касаток,
Еще комета нас не очумила,
И пишут звездоносно и хвостато

Лиловые толковые чернила.

Ему надо разделаться с Камой-рекой, по которой он совершил страшное свое путешествие «с занавеской в окне, с головой в огне». Он делает это чеканными двустишиями, особенно поражает последнее:

А со мною жена пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.

Да, потому что конвойные — те же узники, они стерегут чужую неволю, а чужая неволя стережет их. В этом суть тоталитаризма — все повязаны одной цепью — общим пленом. Мандельштаму достаточно двух строк, чтобы сказать то, на что другому великому узнику понадобился гигантский бухгалтерский поименник «Архипелаг ГУЛАГ».

И вот он уже может бросить тем, кто пытался запечатать ему рот:

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Свою правоту он подтверждает весело и нагловато вроде бы шуточным, на деле же глубоко серьезным, пророческим стихотворением, поразительным для ссыльнопоселенца, живущего Христа ради, поэта, отторгнутого от литературы, печати, читателей:

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

Та же мысль на высокой ноте звучит в «Стансах»:

И не ограблен я и не надломлен,
Но только что всего переогромлен.
Как «Слово о полку», струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля — последнее оружье —
Сухая влажность черноземных га.

В жизни Мандельштама стало много пейзажа, он ездит по области и отзывается простору, да и Воронеж — небольшой город — куда ближе природе, нежели Ленинград и Москва, и природа врывается в его лирику дивными стихами про щегла. С тех пор для многих в мире Воронеж стал «страной щегла».

Мой щегол, я голову закину —
Поглядим на мир вдвоем:
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоем?

Хвостик лодкой, перья — черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?

Что за воздух у него надлобье —
Черн и красен, желт и бел!
В обе стороны он в оба смотрит — в обе! —
Не посмотрит — улетел!

Мандельштам сам споткнулся об этот гимн птице — красоте — вечности и создал дивные варианты стихотворения, затем извлек из рукава еще один самоцвет, перенеся любовь на другую чудную птицу — снегиря.

Я помню, как в довоенном Коктебеле Сева Багрицкий, сын поэта и сам поэт, унаследовавший от отца не только дар стихосложения, но и смуглый тембр голоса и умение налить им звучащее слово, читал на террасе волошинского дома эти стихи. «Мои!» — сказал он резко, чтобы прекратить расспросы и доносы, и мы все поняли, чьи это стихи. А потом он читал невероятное о земной оси, которую надо услышать поэту, как последнюю

истину. Вон куда уже добрался Мандельштам! Я это к тому, что стихи ссыльнопоселенца звучали в сталинской ночи — не все взяли на прикус серебристую мышь. Сева Багрицкий, погибший на Волховском фронте, не виноват, что в его единственном тощем сборничке, изданном посмертно, оказалось стихотворение Мандельштама.

Воронеж дал Мандельштаму не только новые темы, но и новое мирочувствование. Он стал отзываться тому, к чему прежде оставался глух, безразличен.

Он был потрясен фильмом «Чапаев», с влажной простыни экрана ему «в раскрытый рот» прискакал бесстрашный комбриг. И подвиги арктических летчиков будоражат душу. Льются, льются стихи, как никогда изобильно, будто чернозем проник в его вещество, наградив буйным плодородием. Ему кажется, что возможно сращение с действительностью, и ради этого он готов прийти, «головою повинной тяжел». Но искупление воображаемой вины оказалось невозможным. Он никому не нужен, да и самому ему становится мерзок несовершившийся жест раскаяния. Он возвращает себе прежнее скорбное и высокое ощущение своего воронежского бытия.

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен.
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай собак и ветер косит,
И беден тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит.

И наконец он приходит к своей поэтической вершине — стихам о неизвестном солдате, с которых начался наш разговор.

Это жизненный итог, он готов принять свою солдатскую, свою острожную судьбу. Но поэтический ток не иссяк, как никогда звучны его медь, скрипки и орган. Он прощается с морем: «И когда я наполнился морем, // Мором стала мне мера моя», с землею и «клейкой клятвой листов», с прекрасными женщинами, что «сырой земле родные».

Вот хроника последнего года несвободной свободы Мандельштама, В мае 1937-го кончился срок его трехлетней ссылки. В июне его лишили права жить в Москве. Осенью Мандельштамы на два дня едут в Ленинград для сбора денег. В март 1938-го Литературный фонд дает Мандельштамам путевки в дом отдыха в Саматиху. 2 мая Мандельштама арестовали. Кончилось житие, начались страсти…

За пределами этого очерка осталась блистательная проза Мандельштама: повесть, рассказы, остроумнейшие наброски, приближающиеся к высокому фельетону, статьи, рецензии, лишь упомянуто несравненное исследование о Данте. Поэт проверяется прозой. Проза Мандельштама — продолжение его поэзии, она столь же метафорична, интонационно богата, полна кружащих голову разрывов, неожиданных, ошеломляющих ассоциаций.

Я не коснулся его поэтики, вернее, многих поэтик, ибо Мандельштам чуть ли не единственный поэт, который в движении своего поэтического времени менялся до неузнаваемости. Змея, меняя кожу, остается в той же одежде по раскраске и узору, только новой, с иголочки. Мандельштам, сбрасывая поэтическую кожу, становился совсем другим. Можно ли поверить, что ранняя символистская лирика и, скажем, «Ода Бетховену» или «Стихи о неизвестном солдате» написаны одним поэтом?

Явление Мандельштама неохватно. Мне хотелось лишь сказать своим соотечественникам: братья мои бедные, истомленные вечным поиском хлеба насущного, оглушенные политическим краснобайством, задуренные циниками властолюбцами, остановитесь на мгновение, оторвитесь от ящика Пандоры — этой смерти ума и примите в душу, что столетие назад в мир пришел великий поэт Осип Мандельштам, которого предали, как Христа, и, как Христа, отдали на муки и страшную казнь. Он взошел на Голгофу, но Преображения за все десятилетия так и не свершилось. Та звезда, что зажглась на небе век назад, не погасла, как Вифлеемская по исполнении смысла: навести на вертеп, где ежился от холода новорожденный Бог. К яслям Бога-Нахтигаля не пришли с дарами ни цари, ни волхвы, ни пастухи. И ко гробу никто не пришел, да и не было гроба. И звезда продолжает гореть усталым светом в надежде, что те, ради кого он принял муки, заметят ее и поймут знамение. Мандельштам ради всех нас принес свою жертву, ради нас вышел на крестный путь и прошел до конца.

notes

Примечания

1

Кто-то из знающих толк в поэзии говорил: следите за повторяющимися у поэта словами, в них ключ к его сегодняшней душе. Мандельштам не расстается со словом «камень» и производными от него.